
ДЕРЕВЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Рассказы о жизни, любви и прощении
ВЕРА ЯСЕНЕВА

Вера Ясенева

Деревенские истории. Рассказы о жизни, любви и прощении

https://litres.ru/74749858
SelfPub; 2026

Аннотация

Узнав о молодой любовнице мужа, Галина зовёт её жить к себе в дом. Через неделю соперница сбегает. Почтальонка полвека хранит чужое письмо о любви. Городская невестка в белых кроссовках принимает телёнка в грозу. А в новогоднюю метель в дом одинокой старушки стучится незнакомец с ребёнком

15 жизненных историй о деревне, где все друг у друга на виду. О любви и измене, о соседях и родне, о прощении, которое иногда приходит через полвека. Здесь ссорятся из-за забора и всей деревней ищут чужого ребёнка в лесу, смеются над козлом по кличке Артём и плачут над старыми письмами.

Тёплые деревенские рассказы о простых людях и непростых судьбах. Для тех, кто помнит бабушкин дом, запах сена и скрип калитки.

Содержание

Узнала, что у мужа молодая любовница, и позвала её жить к нам. Через неделю она сбежала 4
Почтальонка полвека прятала письмо, которое мне написал любимый. Призналась, когда мне было шестьдесят восемь 11
Каждую субботу муж уходил «на рыбалку». Однажды я нашла его удочки в сарае 18
Двадцать лет мы с соседом воевали из-за забора. Пришлось снести его совсем 24
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Вера Ясенева
Деревенские истории. Рассказы о жизни, любви и прощении

Узнала, что у мужа молодая любовница, и позвала её жить к нам. Через неделю она сбежала

Про любовницу мне сказала соседка Тоня. Прямо у колонки, при трёх бабах с вёдрами.

— Галь, а ты знаешь, что твой Фёдор к Светке из магазина не за хлебом ездит? Велосипед его каждый вечер у неё под окном стоит. Вся улица видит.

Бабы замолчали и уставились на меня. Ведро у меня в руке качнулось, вода плеснула на калоши.

— Знаю, — сказала я. Хотя не знала.

Я донесла вёдра до дома, поставила на лавку и села рядом. Руки тряслись. Тридцать лет мы с Фёдором прожили. Двоих сыновей вырастили, оба в городе. Дом этот он сам перекладывал, крыльцо сам рубил. Пятьдесят пять ему, радикулит,

вставная челюсть, а туда же. Светке из магазина двадцать восемь. Приезжая, разведённая, губы накрашенные.

Вечером я проверила. Велосипед стоял у Светкиного палисадника. Я постояла за углом, посмотрела на освещённое окно и пошла домой.

Ночью я не спала. Думала. Устроить скандал? Вся Ольховка будет месяц обсуждать, как Галька космы Светке рвала. Выгнать Фёдора? Куда, к ней? Так он только того и ждёт. Уехать к сыну? Бросить дом, корову, огород, бабку Матрёну — Фёдорову мать, которой восемьдесят шесть и которая уже не встаёт?

К утру я придумала.

* * *

В магазин я пришла к открытию. Светка стояла за прилавком, увидела меня и побледнела под своей пудрой.

— Света, — сказала я спокойно. — Мне всё про вас с Федей известно. Ты не пугайся, я драться не буду. Я по-доброму. Раз вы друг друга любите, зачем мучиться? Переезжай к нам.

— Ч-чего? — выговорила Светка.

— Переезжай. Дом большой, места хватит. Феде не надо будет на велосипеде мотаться, у него колени. А я женщина немолодая, устала. Буду тебе помогать, пока ты осваиваешься. А там видно будет. Может, я к сыну уеду, а вы тут хозяйничайте.

Светка смотрела на меня, как на сумасшедшую. Потом в

глазах у неё что-то мелькнуло. Я поняла: она прикидывает. Дом — каменный, с газом. Огород в двадцать соток. Корова. Мотоцикл с коляской.

— А Федя… Фёдор Иванович согласен?

— А куда он денется, — сказала я. — Вечером приходи с вещами.

Фёдору я сказала за обедом. Он поперхнулся щами и полчаса кашлял.

— Галя, ты чего удумала?

— Ничего, Федя. Счастья тебе хочу. Ты ж её любишь?

Он посмотрел на меня, как телёнок на новые ворота, и ничего не ответил. Он у меня вообще не мастер разговаривать.

* * *

Светка пришла в семь вечера с двумя чемоданами и косметичкой. Я выделила ей нашу спальню, а сама перебралась в горницу, к бабке Матрёне.

В половине пятого утра я постучала в спальню.

— Света, вставай. Корову доить.

— Ч-чего? Сколько времени?

— Полпятого. Зорька ждать не любит. Я тебе подойник приготовила, вон, у двери. Федя любит парное.

Светка вышла в коровник в шёлковом халате и шлёпанцах. Зорька посмотрела на неё через плечо, выбрала момент и лягнула подойник. Молоко разлилось, Светка взвизгнула. Я стояла в дверях и вежливо советовала:

— Ты ласково с ней, ласково. Она чужих не любит.

Потом были куры, потом поросята, потом прополка картошки. Потом надо было истопить печь для хлеба, потому что Федя магазинный не ест. Потом постирать Федины рабочие штаны — руками, в корыте, машинка у нас «сломалась». Потом бабка Матрёна.

Бабка Матрёна, восемьдесят шесть лет, глухая на одно ухо и острая на язык, внимательно оглядела Светку с кровати и спросила меня громким шёпотом, который было слышно на улице:

— Галька, это что за кикимора?

— Это Света, мама. Она теперь у нас хозяйка.

— Хозяйка? — Бабка Матрёна прищурилась. — Ну, хозяйка, неси кашу. Без комков. И чтоб не горячая. И не холодная.

Кашу бабка Матрёна возвращала четыре раза.

А я… Я отдыхала. Первый раз за тридцать лет. Утром пила чай на крыльце и смотрела на рассвет. Днём ходила на речку, лежала на траве и читала книжку, которую мне сын три года назад подарил. Съездила в райцентр, сделала стрижку. Записалась в хор при клубе — меня давно звали. Вечером приходила, когда всё уже было поделано, и садилась ужинать. Ужин, правда, был так себе. Котлеты подгорели, суп пересолен.

— Ничего, Светочка, — говорила я ласково. — Научишься. Я первые годы тоже пересаливала.

* * *

Фёдор всю неделю ходил хмурый. Он, видно, представлял себе это всё как-то иначе. Молодая жена должна была порхать и ворковать. А эта ходила злая, с поломанными ногтями и в резиновых сапогах, огрызалась на него и падала спать в девять вечера. А к ночи начинала ворчать, что он храпит.

Светка тоже, наверное, представляла себе иначе. Фёдор на велосипеде, с цветами из чужого палисадника, с шоколадкой в кармане — это одно. А Фёдор, который в шесть утра сморкается в умывальник, разбрасывает носки и полвечера стонет, что у него «спину прихватило, натри мазью», — совсем другое.

На шестой день, в субботу, я вернулась с репетиции хора и увидела у крыльца Светкины чемоданы.

— Да подавитесь вы своим Федей! — крикнула мне Светка из окна. — И коровой своей! И бабкой! Я сюда не батрачить нанималась!

Она вышла, схватила чемоданы и потащила их по дороге, спотыкаясь в своих шлёпанцах. Вслед ей из горницы раздался громкий шёпот бабки Матрёны:

— Галька! Кикимора-то сбежала? Ну и слава богу. Каша у неё всё равно была дрянь.

* * *

Вечером Фёдор сел напротив меня за стол. Долго мял кепку в руках.

— Галя, — сказал он наконец. — Ты прости меня. Дурак я. Седина в бороду, бес в ребро, сама знаешь.

— Знаю, — сказала я.

— Простишь?

Я подумала. Долго думала, он даже вспотел.

— Прощу, — сказала я. — Только теперь неделю ты — это я. А я — это Светка.

— Это как?

— А так. В полпятого — к Зорьке. Потом куры, поросята, картошка, печь, стирка, мама. А я буду лежать на речке и петь в хоре.

Он хотел что-то сказать, посмотрел на меня и промолчал.

Неделю Фёдор вставал в полпятого. Зорька лягнула и его — я считаю, справедливо. Бабка Матрёна возвращала ему кашу пять раз и громко объясняла всей улице, что сын у неё «руки-крюки, весь в отца». К концу недели он похудел на четыре килограмма и однажды вечером сказал мне совершенно серьёзно:

— Галя. Я и не знал, что ты столько всего делаешь.

— Вот теперь знаешь, — сказала я.

* * *

С тех пор прошло пять лет. Фёдор доит Зорьку через день, сам, без напоминаний. Стиральную машину он починил на следующий же день после той недели — оказалось, там и чинить было нечего, просто я провод выдернула. В хор я хожу до сих пор, мы даже на районном смотре второе место заняли.

Светка через месяц уехала из Ольховки. Говорят, вышла

замуж в городе за какого-то начальника. Желаю ей счастья. И квартиру без огорода.

А велосипед свой Фёдор продал. Сказал, что у него колени.

Почтальонка полвека прятала письмо, которое мне написал любимый. Призналась, когда мне было шестьдесят восемь

Тётю Клаву, нашу бывшую почтальонку, я не видела года два. Знала, что болеет, что из дома не выходит, что к ней раз в неделю приезжает племянник из района. И вот в конце апреля этот племянник постучал в мою калитку.

— Валентина Петровна, тётя Клава вас зовёт. Говорит, срочно. Говорит, до лета не дотянет, а ей вам что-то отдать надо.

— Мне? — удивилась я. — Что отдать?

Он пожал плечами.

* * *

Клавдия всю жизнь разносила почту по нашему Заречью и двум соседним деревням. Высокая, худая, с большой кирзовой сумкой через плечо, на стареньком велосипеде — я помню её такой с детства. Замуж она так и не вышла. Жила одна в маленьком домике у старой мельницы, держала кошек. Мы с ней никогда не дружили, но и не ссорились. Здоровались.

А ещё она была у нас на свадьбе. Не на моей с Павлом — на той, которой не случилось.

Мне было девятнадцать, когда я полюбила Мишу Ковалёва. Весь семьдесят седьмой год мы не расставались. Миша работал на тракторе, смешил меня до слёз, катал на мотоцикле до самой реки, пел под гармошку так, что старухи на лавочках утирали глаза. Осенью он сделал мне предложение. Не так, как сейчас делают, с кольцом и на коленях. Просто сказал: «Валь, давай поженимся весной».

А зимой мы поссорились. Глупо, как это бывает в девятнадцать. Он пошёл на танцы в соседнее село без меня, а мне донесли, что он там танцевал с какой-то Нинкой. Я наговорила ему такого, что сейчас стыдно вспоминать. Он сказал: «Значит, не веришь мне». И уехал. Завербовался на Север, на стройку, на два года.

Я ждала письма. Каждый день выходила к калитке встречать почтальонку. Клава проезжала мимо на своём велосипеде и качала головой: «Нету, Валюша». Месяц. Два. Полгода. Ни одного письма.

К весне я поняла, что Миша меня забыл. Летом за мной начал ухаживать Павел, агроном из района. Хороший, спокойный, надёжный. Через год мы поженились. Прожили вместе сорок два года, вырастили дочь и сына. Пять лет назад Павла не стало.

Мишу Ковалёва я больше никогда не видела. Говорили, он остался на Севере, женился там, растил детей.

* * *

Тётя Клава лежала на высокой кровати под пёстрым лос-

кутным одеялом. Маленькая, сухая, совсем не похожая на ту высокую почтальонку на велосипеде. Увидела меня и попросила племянника выйти.

— Сядь, Валя, — сказала она. — Сядь поближе. Я плохо слышу.

Я села на табуретку у кровати. Клава долго смотрела на меня. Потом вытащила из-под подушки старую жестяную шкатулку из-под монпансье и положила мне на колени.

— Открой.

В шкатулке лежал конверт. Пожелтевший, с выцветшими марками и штемпелем «Норильск». Мой адрес, написанный знакомым размашистым почерком, от которого у меня внутри всё оборвалось. Конверт был не распечатан.

— Я не отдала, — сказала Клава. — В марте семьдесят восьмого пришло. Я тебе не отдала.

Я смотрела на конверт и не могла пошевелиться.

— Почему?

— Потому что я его тоже любила, — сказала Клава просто. — Мишку. Всю жизнь. Мне двадцать семь было, тебе девятнадцать. Он на меня ни разу не посмотрел. А на тебя смотрел, будто солнце увидел. Я подумала: не будет письма — не будет и свадьбы. А там, может, он и меня заметит. — Она усмехнулась. — Не заметил. Не приехал больше. А ты за Павла вышла. А письмо так и лежало. Я его каждый год доставала и хотела отдать. И каждый год не могла. Стыдно было. А теперь мне помирать скоро, а с этим помирать —

страшнее, чем с чем другим.

Я сидела и держала шкатулку. Пальцы не слушались.

— Вскрой, — попросила Клава. — При мне. Я сорок восемь лет не знаю, что там.

Я вскрыла.

Письмо было на тетрадном листке в клетку. Карандашом. Неровные строчки, будто писал в машине на колене.

«Валюша. Я дурак. Не было у меня никакой Нинки, я с ней один танец станцевал из вежливости, а ты сразу в слёзы. Я тут каждую ночь про тебя думаю. Я в мае приеду в отпуск. Буду проезжать мимо твоего дома на автобусе от станции. Если ждёшь меня — повесь на калитку красную ленту. Тогда я сойду, приду к твоей маме и попрошу тебя замуж по-настоящему. А если ленты не будет — я пойму. Не буду тебе мешать».

* * *

Я вспомнила тот май. Солнце, черёмуха, я в огороде сажаю картошку. И автобус от станции, который проезжал мимо нашего дома два раза в день. Я даже не поднимала головы.

Ленты на калитке не было. Миша проехал мимо. И не сошёл.

— Валя, — позвала Клава. — Ты меня прокляни, если хочешь. Я заслужила.

Я хотела кричать. Хотела швырнуть ей эту шкатулку. Хотела спросить, понимает ли она, что сделала с моей жизнью. А потом посмотрела на неё — маленькую, одинокую, в лос-

кутном одеяле, в доме, где кроме кошек никого нет и не было никогда, — и поняла, что она наказала себя сама. Гораздо сильнее, чем я смогла бы.

И ещё я подумала про Павла. Про сорок два года. Про дочь и сына. Про внуков. Я не могла сказать, что моя жизнь была ошибкой. Она была хорошей. Просто другой.

— Не прокляну, — сказала я. — Живи, Клава.

Она заплакала. Тихо, по-старушечьи, отвернувшись к стене.

А потом сказала, не поворачиваясь:

— Это ещё не всё. Под конвертом листок. Там адрес.

* * *

На дне шкатулки лежала бумажка с адресом. Небольшой городок в соседней области, улица, дом, квартира. Почерк Клавы.

— Я все эти годы за ним следила, — сказала она. — Через почту, через знакомых. Он с Севера вернулся в девяностом, жил в городе, работал на автобазе. Жена у него умерла семь лет назад. Детей двое, внуки. Живёт один. — Она помолчала. — Я ведь думала: может, хоть так. Хоть знать, где он.

Я пришла домой с этой шкатулкой и до утра просидела на кухне. Перечитала письмо, наверное, сто раз. Потом достала тетрадку, ручку и впервые за сорок девять лет написала Мише.

Я не знала, что писать. Написала всё как есть. Про Клаву. Про письмо, которое не дошло. Про май семьдесят восьмого

и картошку. Про Павла, про детей, про внуков. Про то, что теперь я вдова и живу одна в том же доме, у той же калитки.

Письмо я отвезла в райцентр сама. На местную почту носить не стала.

* * *

Ответ пришёл через две недели. Конверт, надписанный тем же размашистым почерком, только теперь дрожащим. Внутри был листок в клетку и одна строчка:

«Валюша. Ленту повесишь?»

В середине мая я встала в шесть утра, достала из сундука красную атласную ленту — ещё мамину, она ею косы мне заплетала в первый класс, — и привязала её на калитку. Бантом. Руки тряслись так, что я завязала его с третьего раза.

Автобус от станции пришёл в девять двадцать. Он остановился у моего дома, хотя остановки здесь нет и никогда не было. Двери открылись. Из автобуса медленно, держась за поручень, спустился высокий седой старик с палочкой и букетом черёмухи. Остановился. Посмотрел на калитку. На ленту. На меня.

— Валюша, — сказал он. — А я думал, не дождусь.

* * *

Мише семьдесят два, мне шестьдесят восемь. Мы не стали жениться — внуки засмеют, говорит он. Живём вместе в моём доме, а в его городской квартире летом живёт его внучка-студентка. Он починил мне крыльцо и сарай, а по вечерам играет на гармошке, хоть пальцы уже не те. Старухи на

лавочках утирают глаза, как пятьдесят лет назад.

Тётя Клава дожила до июля. Последние недели я носила ей пироги и сидела с ней по вечерам. Миша тоже приходил. Сидел молча у кровати, держал её за руку. Она смотрела на него и улыбалась. Я не ревновала. Я думаю, она это заслужила — хоть немного.

Лента так и висит на калитке. Выцвела совсем, стала розовой. Миша предлагает повесить новую. Я не разрешаю.

Каждую субботу муж уходил «на рыбалку». Однажды я нашла его удочки в сарае

Пётр уходил в пять утра. Брал рюкзак, термос, говорил: «На рыбалку, Нин, к обеду вернусь». И возвращался к обеду. Без рыбы.

— Не клевало, — говорил он и садился за стол.

Сначала я не придавала значения. Рыбак из него всегда был никудышный, это все в Сосновке знали. Ну не клюёт — значит, не клюёт. Хочет человек посидеть у воды, отдохнуть от хозяйства, от меня, от телевизора. Двадцать два года живём, имеет право.

Но потом я заметила, что из рюкзака пахнет не рекой, а дымом. Что сапоги у него сухие, хотя к реке иначе как через луг не пройти, а на лугу роса по колено. Что в субботу вечером он засыпает раньше обычного, как после тяжёлой работы. А однажды, разбирая рюкзак, я нашла на дне пустую банку из-под тушёнки и аптечный пакет с чеком. В чеке было лекарство от давления. У Пети давление в норме.

А в начале октября я пошла в сарай за граблями и увидела в углу его удочки. Обе. В чехле, покрытые пылью, с паутиной между катушками. Они стояли там всё лето.

* * *

Я не стала устраивать сцен. Я выждала до следующей субботы.

В пять утра Пётр, как обычно, ушёл «на рыбалку». Я дала ему десять минут и вышла следом. Он шёл не к реке. Он шёл к мосту, к дороге на Берёзовку — это соседняя деревня, шесть километров по лесу. Я шла за ним метрах в двухстах, прячась за деревьями, как в кино, и чувствовала себя полной дурой. Пятьдесят лет, а крадусь по лесу за мужем.

У меня в голове уже всё было. Кто она, какая она. Наверное, вдова. Наверное, моложе. Наверное, пироги печёт лучше. Двадцать два года — и вот.

В Берёзовке он свернул на самый край деревни, к дому, который я помнила полуразвалившимся. Дом стоял почти так же, только крыльцо было новое, свежие доски ещё желтели. Из трубы шёл дым. Пётр постучал, открыл дверь сам и вошёл.

Я подошла к окну. Стекло было мутное, я протёрла его рукавом.

В комнате, у печки, в кресле сидела маленькая седая старуха, закутанная в шаль. Левая рука у неё лежала на подлокотнике неподвижно, как чужая. Пётр снял куртку, подбросил дров в печь, поставил на плиту кастрюлю. Потом наклонился к старухе и что-то сказал. Она улыбнулась половиной лица.

Я её не узнала. А потом узнала.

* * *

Я вошла, не постучав. Пётр обернулся с половником в руке и побелел.

— Нина…

Старуха в кресле подняла на меня глаза. Те же серые глаза, что я каждое утро вижу в зеркале.

— Ниночка, — сказала она. Невнятно, с трудом, одной половиной рта.

Мне было семь лет, когда мать ушла. Уехала в город с мужчиной, который приезжал к нам в колхоз чинить технику. Оставила меня бабушке. Сказала: «Я заберу тебя, как устроюсь». Я ждала её два года. Каждый вечер сидела у окна и смотрела на дорогу. Потом перестала ждать. Потом бабушка сказала мне, что мать живёт в другом городе, что у неё новая семья, новые дети. Я выросла, вышла замуж, родила сына, похоронила бабушку. И всем, кто спрашивал, отвечала: «У меня нет матери».

— Что она здесь делает? — спросила я. Не у неё. У Петра.

Он поставил половник.

— Пойдём выйдем, Нин.

* * *

На крыльце он рассказал. Год назад он возил соседа в районную больницу. И в коридоре к нему подошла старуха на ходунках. Спросила, не из Сосновки ли он. Спросила, знает ли он Нину Воронцову.

— Я сказал: знаю, жена моя. Она заплакала. Прямо там, в коридоре. Рассказала, что после инсульта, что одна, что муж

её давно умер, а дети от второго брака в другом городе и не звонят. Что вернулась сюда, в Берёзовку, в дом покойной сестры, потому что больше некуда. — Пётр смотрел себе под ноги. — Она меня просила тебе не говорить. Сказала: «Я не заслужила, чтобы она знала. Я только хочу знать, как она живёт. Хоть изредка». Я ей рассказывал. Про тебя, про Ваньку. Фотографии показывал в телефоне.

— Год, — сказала я. — Год ты мне врал.

— Врал, — согласился он. — Я не знал, как сказать, Нин. Ты же всегда говорила — нет у тебя матери. А она тут одна. Дров наколоть некому, печь протопить некому. Соседи раз в неделю продукты приносят, и всё. Я начал по субботам ходить. Крыльцо вот поправил, оно совсем сгнило. А сказать тебе… побоялся.

— А удочки?

— А удочки — что, — сказал он виновато. — Удочки я для вида брал. Потом надоело таскать.

Я молчала. Внутри у меня всё кипело. На него — за то, что врал. На неё — за то, что ушла тогда, а теперь вот сидит у печки и смотрит моими глазами. На себя — за то, что пряталась по кустам и думала про какую-то вдову.

— Пойдём домой, — сказала я.

— А суп? — спросил Пётр растерянно. — Я ей суп не доварил.

Я посмотрела на него. На этого большого, неуклюжего, доброго мужика, которого я двадцать два года считала про-

стым как валенок. А он год таскался по лесу через шесть километров, чтобы сварить суп чужой старухе, которая бросила его жену.

— Довари, — сказала я. — Я подожду.

* * *

Всю следующую неделю я не могла спать. Ходила по дому, брала в руки вещи и ставила обратно. Вспоминала, как сидела у окна. Как бабушка гладила меня по голове и говорила: «Не жди, Ниночка, не надо». Как в первом классе на утреннике у всех были мамы, а у меня бабушка. Я ненавидела мать сорок три года. Это была старая, привычная ненависть, как больной зуб, который уже не замечаешь.

А теперь она сидела в шести километрах от меня, одна, в кресле, с неподвижной рукой.

В субботу утром я встала раньше Петра. Испекла пирог с капустой — бабушкин рецепт. Налила в банку молока. Собрала сумку.

— Ты куда? — спросил Пётр с порога, сонный.

— На рыбалку, — сказала я. — Одевайся.

* * *

Я не простила её в тот день. Я не знаю, простила ли я её до конца сейчас. Когда я вошла, она заплакала и начала говорить что-то про то, что не заслужила, что ей стыдно, что она каждый день сорок три года думала обо мне. Я перебила её.

— Не надо, — сказала я. — Не сейчас. Я ещё не могу. Но пирог я тебе испекла.

Она ела пирог одной рукой, неловко, крошки падали на шаль. Я смотрела и не знала, что чувствую. Злость была. Жалость была. И ещё что-то, чему я пока не знала названия.

К зиме мы с Петром утеплили нашу летнюю кухню, провели туда отопление и забрали её к себе. В Берёзовке она бы зимой одна не выжила. Я ухаживаю за ней. Мою, кормлю, вожу к врачу. Говорю с ней мало. Называю её по имени, Зоя Фёдоровна.

Но на прошлой неделе приехал из города наш сын Ваня с невестой. Познакомился с бабушкой, которую никогда не видел. Посидел с ней, послушал, как она рассказывает про колхоз и про свою молодость. А потом, когда я звала всех к столу, я крикнула из кухни: «Ваня, Петя, мама, ужинать!»

И только потом поняла, что сказала.

В летней кухне стало тихо. А потом Зоя Фёдоровна — мама — тихо заплакала. Я не пошла её утешать. Я стояла у плиты и плакала тоже.

Удочки так и стоят в сарае. Пётр больше не ходит на рыбалку. Говорит, некогда: по субботам мы втроём печём пироги.

Двадцать лет мы с соседом воевали из-за забора. Пришлось снести его совсем

Каждую весну, как только сходил снег, Степан Егорович передвигал забор.

Не сильно. Сантиметров на десять. Выкапывал столбики, переносил их в мою сторону и закапывал снова. Делал он это рано утром, пока я спала, — думал, я не замечу. А я замечала. Я эти десять сантиметров знала, как свою ладонь: моя смородина вдоль забора всегда росла в двух шагах от штакетника, а тут вдруг оказывалась в полутора.

Я выходила с лопатой и переносила забор обратно. Днём, при всех, чтобы вся улица видела.

Так продолжалось двадцать лет.

* * *

Мы со Степаном Егоровичем въехали в соседние дома почти одновременно. Я — с мужем Костей, он — с женой Раей. Сначала дружили: вместе сажали картошку, вместе отмечали праздники. Потом поссорились из-за какой-то ерунды, я уже даже не помню, из-за чего, кажется, из-за его петуха, который орал в четыре утра. Слово за слово — и пошло-поехало.

Петух орал, а мой кот таскал его цыплят. Его радио играло на весь двор, а моя Костина бензопила будила его по выход-

ным. Он ставил компостную кучу у моего забора. Я сажала у его забора крапиву.

Потом Рая его умерла. Через три года умер мой Костя. Мы остались вдвоём — две старые развалины по разные стороны штакетника. И, казалось бы, пора было угомониться. Но мы не угомонились. Наоборот. Кроме этой войны у нас, кажется, ничего и не осталось.

Вся деревня смеялась. Летом к забору приходили смотреть, как мы ругаемся. Бабки на лавочке делали ставки, кто первый сдастся.

— Ильинична, ну что вы как дети, — говорила мне соседка Зина. — Вам уже за шестьдесят обоим.

— А пусть не лезет на мою землю, — отвечала я.

* * *

Прошлой весной я решила покончить с этим раз и навсегда. Вызвала из района кадастрового инженера. Отдала за межевание полпенсии. Пусть, думаю, официально установят, где моя граница, поставят колышки, и пусть он только попробует их сдвинуть.

Инженер приехал — молодой парень с прибором на треноге. Степан Егорович вышел на крыльцо в майке и стоял, скрестив руки. Парень полдня ходил с прибором, что-то измерял, что-то записывал. Потом подошёл ко мне со своим планшетом.

— Анна Ильинична, — сказал он смущённо. — Тут такое дело. Граница по документам проходит вот здесь. — Он во-

ткнул колышек в землю.

Колышек стоял в сорока сантиметрах от забора. На моей стороне.

— Это значит… — начала я.

— Это значит, что забор стоит на его земле. Сорок сантиметров. Видимо, с самого начала так поставили, ещё при прошлых хозяевах.

Над деревней стояла тишина. Я обернулась. Степан Егорович стоял на крыльце, и лицо у него было такое, что я поняла: он всё это время знал. Знал и двигал по десять сантиметров — свои десять сантиметров, которые я у него отнимала каждую весну. Двадцать лет.

Бабки на лавочке легли от хохота.

* * *

Я ушла в дом и полдня не выходила. Было так стыдно, что хотелось провалиться под землю. Двадцать лет я считала его захватчиком, а захватчицей была я. А он, вредный старик, не сказал ни слова. Просто двигал свои десять сантиметров и молча смотрел, как я переношу их обратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.